БЕСПРИНЦЫПНЫЕ ЧТЕНИЯ

НАРИНЭ **АБГАРЯН** АНДРЕЙ **АСТВАЦАТУРОВ**
АЛЕКСАНДР **БОРОВСКИЙ** АЛЕКСАНДР **МАЛЕНКОВ**
АЛЕКСАНДР **СНЕГИРЁВ** САША **ФИЛИПЕНКО**
АЛЕКСАНДР **ЦЫПКИН** ЕВГЕНИЙ **ЧЕШИРКО**

ОТ "А" ДО "Ч"

18+ СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

Одобрено Рунетом

Александр Снегирёв

БеспринцЫпные чтения. От «А» до «Ч»

«АСТ»
2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Снегирёв А.

БеспринцЫпные чтения. От «А» до «Ч» / А. Снегирёв — «АСТ», 2018 — (Одобрено Рунетом)

ISBN 978-5-17-112908-8

«БеспринцЫпные чтения» – один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени. За два года его существования состоялось более ста чтений. Рассказы знаменитых авторов: Александра Цыпкина, Наринэ Абгарян, Андрея Аствацатурова, Саши Филипенко и других – звучали со сцен двенадцати стран мира! В проекте принимают участие ведущие российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Евгений Стычкин, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Ксения Раппопорт, Катерина Шпица, Павел Табаков и другие. Самые запомнившиеся рассказы этого года собраны в одной книге. Книга содержит нецензурную брань.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-112908-8

© Снегирёв А., 2018
© АСТ, 2018

Содержание

Берд 6
Ночное купание 19
Про то, как кенгуру «живет с слоном» 21
Муж Маши Сидоровой 23
Ван Эйк 24
Душечка 26
Дима Большой 27
Синее полотенце 30
Конец ознакомительного фрагмента. 31

БеспринцЫпные чтения. От «А» до «Ч»

Сборник

© БеспринцЫпные чтения, текст, 2018
© А. Ксенз, иллюстрации, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

В прочитанных мною со сцены рассказах Наринэ Абгарян есть нежность, доброта, остроумие и какая-то ностальгия по детству. Вместе с тем их нельзя назвать сопливыми, потому что мысль, которую она проводит через свои произведения, – серьезная и даже драматическая.

Ингеборга Дапкунайте, советская, британская и литовская актриса театра и кино, телеведущая

Берд

Январь

Из всех времен года мы, дети, замечали только зиму. Может, потому, что она была не столь долгой, как хотелось. И не такой снежной, как на перевале, отделяющем нас от остального мира, – как завалит выше гор, так и не отпустит из плена до весны.

Зима приходила в январе. Долго кружила морозным ветром над истомленными ожиданием домами, а потом, за одну враз притихшую ночь накрывала их рыхлой пеленой. Проснулся с утра – а за окном словно стертый резинкой мир. Только там и сям, уцелевшими карандашными набросками, виднеются кусочек деревянного забора или сбившаяся после проехавшей телеги одинокая дорожная колея.

Наигравшись вдоволь в снегу, заваливались шумной гурьбой к нани. Стягивали зубами заиндевевшие рукавички, скидывали боты, сваливали пальто и шапки на топчан в коридоре и бежали, громко топая по полу, – до сих пор помню обиженный скрип досок – на кухню. Нани нас ждала там. Нальет густой фасолевой похлебки, посыплет сверху свиными шкварками, нарежет соленой красной капусты, натрет засушенные на печи ломти домашнего хлеба зубчиком чеснока… М-м-м, не знаю ничего вкусней незамысловатой деревенской еды.

После сытного обеда она усаживала нас вокруг себя и рассказывала притчу о семикрылых ангелах. У которых каждое крыло одного цвета радуги, а каждое перо разит семерых темных дэвов. Дэвы выходят ночью из-за края земли, чтобы воровать души спящих людей, а ангелы разят их своими перьями, словно стрелами.

– Так что пока вы спите, добро и зло воюют за вас, – заканчивала свой рассказ нани.

– А что они делают днем, когда мы не спим? – неизменно спрашивал кто-то из детей.

– Ангелы отращивают себе новые крылья, а дэвы – новые клыки.

Мы слушали, затаив дыхание. Младшая сестра, не выдержав напряжения, начинала икать. Мы на нее, бедную, шикали, она зажимала рот ладошкой.

Однажды, когда нани по нашей просьбе снова завела свой рассказ, на кухню заглянул дядя Жора, который как раз в том году поступил в политехнический институт. Услышав о семикрылых ангелах, он стал выспрашивать, как же они летают.

– Как птицы, – с достоинством отвечала нани.

– Семь на два не делится, верно? – не унимался дядя.

– Верно.

– Значит, получается три крыла за одним плечом, а три за другим. Где же тогда седьмое крыло находится?

Нани растерялась. А мы расстроились – миф об ангелах рушился на глазах. Младшая сестра аж икать перестала, запереливалась глазами. Тут в комнату влетел дед и отвесил дяде Жоре могучий подзатыльник.

– А седьмое крыло запасное, ясно? На ремне болтается. Еще вопросы есть?

Вопросов у дяди Жоры больше не нашлось.

Февраль

– Я тебе вчера восемь раз звонила. А ты мне так и не ответила, – обижается мама.

– Как звонила? Телефон молчал.

– Я тебе в скайпе звонила!

– Мам, я хоть в сети была?

– А я знаю?

У мамы макияж, серьги, платочек на шее, прическа. Я со вздохом распускаю хвостик волос, приглаживаю брови. Прячу руки, чтобы она не заметила отсутствия маникюра.

– Ты ж моя красавица, – говорит мама.

Я киваю. Красавица, да. Кто скажет, что не красавица, тот ей враг номер один. А я же не сумасшедшая с родной матерью отношения портить!

– Наринэ, я тут вычитала отличный рецепт для маски. Записывай. Натереть на мелкой терке сорок граммов хрена, добавить две чайные ложки молотого имбиря, залить кипятком… Записываешь?

– Угум!

– Врешь?

– Нет.

– А то я не вижу, что врешь. Записывай давай.

Приходится записывать, а потом еще и зачитывать вслух. Не дай бог что-то пропустила.

– Мы вам маленькую посылочку собрали, – как бы вскользь упоминает мама.

– Снова? – ужасаюсь я. – Мы новогоднюю посылочку еще не съели.

– Габардиненц Ерванд собирается в Москву. Не ехать же человеку порожняком!

– Пусть едет порожняком.

– Ничего не знаю. Будет через три дня. Я оставила адрес. Подвезет прямо к вашему дому.

– Найдет?

– Найдет. У него этот, как его? Аппарат для распознавания дороги. Жипирэсэ.

– Мумсик! – давлюсь от смеха я.

– Захрмар. А как правильно? Жиписэрэ?

– Джипиэс!

– Ну и что ты мне голову морочишь, когда я так и сказала? В общем, ждите. Скоро посылка будет.

– Мам, а кто такой этот Габардиненц Ерванд? И почему он Габардиненц? Его предок первым в Берде надел габардиновое пальто?

– Не знаю. Надо твоего отца спросить. Он Габардиненц род хорошо знает. Всю жизнь им зубы лечит.

Посылка прибывает тютелька в тютельку, через три дня. Я сразу распознаю микроавтобус Габардиненц Ерванда. Во-первых, по ржавой крыше и вспоротым бокам. Во-вторых, по небольшой толпе заинтригованных горожан, которые, плюнув на столичный апломб, обступили доисторическую махину со всех сторон. Ну а в-третьих – по растопыренным колесам и погнутым в обратную сторону рессорам. Даже с моего семнадцатого этажа было видно, что микроавтобус загружен под завязку.

Габардиненц Ерванд оказывается отчаянно усатым услужливым мужичком.

– Дочка, я твоего отца очень уважаю, поэтому первым делом к тебе заехал, – выволакивает он из микроавтобуса огромный баул, – показывай дорогу, куда нести?

В квартиру Габардиненц Ерванд заходит с почтением, цокает восхищенно на сундук из состаренного дерева, трогает батареи отопления – не мерзнете? Нет? Молодцы! – Шарит взглядом по стенам. Углядев на стеллаже открытку с изображением Арарата, успокаивается. Отобедать отказывается и, выпив чашечку кофе, начинает прощаться.

– Пора. Мне еще в Новокосино ехать. А потом – в Мытищи. Посылки развозить.

– Спасибо вам большое.

– Зачем спасибо? Не ехать же порожняком. Вот и повез гостинцы. И вам хорошо, и мне приятно.

Я провожаю бердского гонца до лифта, возвращаюсь в квартиру. Разворачиваю любовно упакованные гостинцы. Пять килограммов меда, мешок чищеных орехов, две бутыли кизиловки. Ну и по мелочи: домашняя ветчина (целый окорок), бастурма, суджух. Три кило лаваша из отборной муки. Зрелая домашняя брынза. Пакетики с сушеной зеленью.

До весны можно в магазин не ходить.

Март

Своих я вычисляю за секунду каким-то звериным чутьем.

Отнесла сапоги в мастерскую.

Оформляет заказ мужчина, полный, голубоглазый, русоволосый. По виду – обычный житель средней полосы России. Но я-то вижу, что наш. Притом совсем земляк, бердский или, может быть, карабахский.

– Здравствуйте, – говорю, – мне бы набойки поменять.

Зимой какие-то безголовые балбесы нарисовали на двери этой мастерской свастику. Сапожник аккуратно обвел ее краской, превратил лопасти в лепестки. Получился кривенький четырехлапый листик клевера. Символ счастья.

Он берет сапоги, рассматривает каблуки, недовольно хмурится. Даю руку на отсечение, думает: «Сразу видно – не армяне делали. Если бы армяне, фиг бы набойки так быстро отвалились». О, это великое самомнение маленьких народов!

– С вас триста рублей, – начинает заполнять квитанцию, – фамилия?

– Абгарян, – говорю я, пряча улыбку.

Он вскидывает глаза:

– Из Армении?

– Да. А вы?

– Тоже.

– Откуда?

– Из Берда.

– Я так и знала! Я сразу поняла, что вы мой земляк.

– Вы чья дочка? (Никогда не спросят имени. Всегда – чья дочка. Или – из какого рода.)

– Доктора Абгаряна.

– О, а я из рода Меликян. Знаю, ваша бабушка тоже была Меликян. С вас семьдесят рублей. Только за материал возьму, за работу не буду.

– Мне неудобно. Давайте я заплачу, как все.

– Обижаете, сестра. Или не приходите больше к нам, или платите, сколько говорю.

Торговалась с пеной у рта. Заплатила сто двадцать рублей.

Недавно иду из магазина, он высовывается по пояс в окно.

– Подождите. Вы Наринэ Абгарян?

– Да.

– Сейчас! – выскакивает из мастерской, бежит, размахивая книгой.

– Подпишите, пожалуйста, дочкам. Я уже неделю вас караулю, по фотографии на обложке вычислил, что это вы.

– Как дочек зовут?

– Дарья и Маринэ.

– Вразнобой назвали?

– Ага, жена русская. Честно поделили.

– А если мальчик?

– Если мальчик, назовем обтекаемо.

– Как это «обтекаемо»?

– Максим. Чтобы и нашим и вашим.

Посмеялись.

Я делаю зарубку на памяти – Степан Меликян, сын Амирама Меликяна, сапожник. Потяни за ниточку – и воспоминания превратятся в ленту Мебиуса – как бы далеко ни уходил, возвращаешься в отправную точку. Каменный дом с потемневшей от времени деревянной верандой, большой яблоневый сад, обязательное тутовое дерево во дворе – в июне Амирам будет стряхивать спелые, сладкие плоды, легонько колотя дубинкой по веткам. А домашние будут ловить в большой тент стремительно темнеющие от медового сока ягоды.

Тент отзывается дробным стуком на звездопад плодов – пх-пх, пх-пх. Если спрятаться под ним, то кажется, что идет самый настоящий град. Маленький Степан подставляет спину падающим ягодам, ойкает. Выползает счастливый, щербетно-липучий, перемазанный с ног до головы тутовым соком.

Свежую ягоду пустят на варенье и сироп, а из перебродившей сделают самогон – тяжеленный, неподъемный. Выпил – и слава богу, что выжил. В Берде пьют такое, какое приезжим не переварить. Воистину, что нашему человеку хорошо, то остальным – смерть. На том и держимся.

С громким стуком захлопывается дверь мастерской – Степан ушел принимать очередной заказ. Я стою, ошеломленная, посреди Москвы. В воздухе кружит мартовский снег. Если поймать его на кончик языка, он отдает горным родником. И совсем немного – подснежниками.

Апрель

– Молодежь теперь умная, сло́ва ей поперек не скажешь!

Старенькая Ясаман стряхивает с фартука невидимые крошки, одергивает рукав темного платья. Затягивает тяжелым узлом на затылке косынку, концы перекидывает на грудь. Садится на край скрипучей тахты, складывает руки на коленях, скорбно качает головой.

– Я Мишику так и сказала – раз хочешь, женись. Я же не могу ему запретить. А она мало того что не армянка, так еще в городе родилась, наших порядков не знает, приготовить-подать не умеет. Стирку развесила шиворот-навыворот – пришлось бегом перевешивать, чтобы перед соседями не позориться.

Ясаман тяжело поднимается, достает из ящичка комода мятый бумажный кулек, отсыпает несколько крупинок ладана в специальную чашу, чиркает спичкой. Комнату затягивает сладковатым дымом церковной смолы.

– Крестится по-другому. Мы же слева направо крестимся, от сердца. А они – справа налево. К сердцу. Ладно, пусть крестится, как привыкла. Но юбку-то можно человеческую надеть? Юбка такой длины, что когда нагибается – глаза отводишь, чтобы не увидеть, какого цвета на ней трусы. У нее что, придатки в подмышках находятся? Простудить не боится?

Просыпаются настенные часы. Ясаман умолкает, пережидает их старческое дребезжание. Часы, надрывно кашляя, пробивают семь. Затихают.

– С утра поднимается – и давай по деревне бегать, апрельскую слякоть развозить. Говорит – это кросс. Ай балам, какой кросс, коровы перестали от такого кросса доиться. Бегает, грудями трясет. Груди у нее такие – дай бог каждому. Сама худая, как щепка, а груди четвертого размера. Даже коровы переживают.

Ясаман жует губами, вздыхает.

– А главное – ни грамма уважения. Я, например, ее маму называю на «вы». Говорю – здравствуйте вам, Татиана Валдиславовна, как *ваше* дела, Татиана Валдиславовна, как *здаров*, Татиана Валдиславовна. А моя невестка меня никак не называет. Или же по имени называет. Я хочу стол накрыть – она мне говорит «Ясаман» и начинает накрывать стол. Я хочу полы

помыть, она мне говорит – «Ясаман», забирает швабру и сама моет пол. Ни разу не скажет – мама-джан. Или хотя бы Ясаман Петросовна. Ясаман да Ясаман!

Пришлось пустить в дело все запасы красноречия, чтобы убедить, что невестка говорит не «Ясаман», а «я сама».

Май

У меня есть заветная мечта – увидеть себя маленькой.

Например, пятилетней. Щекастой, карапузой, с выгоревшими на майском солнце волосами цвета соломы. В смешных сандаликах на босу ногу. Я любила разговаривать с гусеницами. Задавала им вопросы и терпеливо ждала ответов. Гусеницы сворачивались калачиком или уползали прочь. Молчали.

У нас была собака – маленькая, мохнатая, вреднючая, настоящая жучка. Звали ее Белкой. Этакий ртутный шарик – целый день носилась по двору, бесконечно выясняла отношения со своей тенью – старалась ее перескакать. В саду нани Тамар росли большие подсолнухи. Нани Тамар обвязывала их газетой, чтобы вездесущие воробьи не выклевали семечки. Но воробьи так просто не сдавались, они обрывали по краю бумагу и воровали семечки. Белка была заслуженным пугалом сада нани Тамар – строго инспектировала каждый подсолнух и, если засекала в пределах видимости хоть один вражеский чик-чирик, тут же летела, развеваясь кудряшками, к непрошеному гостю. Густо облаивала его до седьмого колена. Спасала урожай.

Обожала топинамбур. В сезон топинамбура превращалась в крота – шуровала по кустам, выкапывала сочные клубни и моментально съедала, чавкая и закатывая глаза. За кусочек чурчхелы готова была душу продать.

Однажды к нам в гости заглянул дядя Жора. В тот день он был особенно неотразим – большие бакенбарды, облегающая сорочка с сокрушительным взмахом ворота, брюки-клеш. Штанины при ходьбе развивали такую мощную амплитуду, что периодически, цепляясь друг за друга, обматывались вокруг ног плотным коконом. Белка эти брюки сразу невзлюбила, видимо, приняла их беспардонное трепыхание на свой счет. Сидела, нахохлившись, за тутовым деревом, вздрагивала мохнатыми ушами. Периодически убегала в сад – облаивать банды воробьев. Заодно, пробегая мимо, облаивала брюки. Как назло, тот вечер выдался ветреным, штаны на двоюродном дяде развевались так, что, казалось, еще чуть-чуть – и он улетит, подхваченный порывом. В очередной раз, когда Белка пробегала мимо, штанины вспорхнули огромными крыльями летучей мыши, затрепетали-заполоскались. Тут у Белки терпение лопнуло, она вцепилась зубами в брюки и не отцеплялась до тех пор, пока не изорвала их в лапшу. Рвала сладострастно, с упоением, аж подвывая от удовольствия.

Дядя от сменных брюк отказался, уходил домой дворами, развеваясь на ветру бахромой. Белку мы отругали и даже надавали газетой по ушам. Собака имела фальшиво виноватый вид, перемещалась по двору, как диверсант в тылу врага – по-пластунски, воровато двигая мелкими лопатками. Оживлялась только при виде очередной стаи воробьев. Но и их гоняла аккуратно, косилась одним глазом на нас – сердимся, не сердимся? Поймав чью-то опрометчивую улыбку, летела что есть мочи, захлебываясь в счастливом лае. Мы спохватывались, делали грозные лица. Белка тут же сникала, закатывала уши обратно и, мелко виляя хвостом, уползала прочь.

Я помню себя пятилетней, бегущей за нашей собачкой. Мы мчались навылет через дворы – один, второй, третий, перепрыгивая через старые, перекошенные деревянные заборы, колючий низкорослый малинник, пышные кусты зацветшего просвирняка, цепляли липучие семянки лопуха. Вверх, вверх по пыльной жаркой дороге, туда, где, загибаясь острым углом, она резко уходила по склону вниз – к большому винограднику, к пенной речке, к развалинам каменной крепости…

Ловили грудью воздух, ладонями – солнце, наполнялись-наливались до краев, до кончиков, до самых до краинок – счастьем.

У меня есть заветная мечта – увидеть себя маленькой. Например, пятилетней. Щекастой, веснушчатой, с выгоревшими на южном солнце волосами цвета соломы. На берегу реки. С Белкой, путающейся под ногами.

Обнять, прижать к груди. Смолчать.

Мне этого так хочется, что я иногда верю – так и будет.

Июнь

Когда совсем-совсем не хотелось есть, а было надо, папа придумывал сказки. Нет, сначала он готовил, обязательно что-нибудь простое. Отварит картошку, польет растопленным сливочным маслом, посолит крупной солью, посыплет кольцами злого лука. Возьмет овечьей брынзы, краюху домашнего хлеба, несколько помидор – мясистых, сладких. И ведет нас за плечо холма.

На самой макушке, повернувшись боком к солнцу, стоял наш крохотный летний домик – деревянный, скрипучий, с большой, накрытой полосатым паласом тахтой и жестяной печкой. Печка пахла теплом и дымом, а еще – моросящим июньским дождем, видно, потому, что топили мы ее, когда за окном лил дождь.

Папа выставлял на поднос еду и вел нас, словно заправский Моисей, к вековому буку, который торчал, одинокий и нелепый, на плече нашего холма.

– Старшая садится справа, средняя – слева, – распоряжался он.

– А я? – волновалась двухлетняя Гаянэ.

– А ты садишься напротив и внимательно слушаешь.

Он нарезал помидоры и сыр, отрывал от краюхи кусочек горбушки, макал в масло, отправлял себе в рот, закрывал глаза.

– М-м-м. Как вкусно.

– Ну? – поторапливали мы.

– Так вот. Знаете, как я отварил эту картошку?

– Знаем. В воде.

– Ничего вы не знаете. Сначала я сходил на речку. Сегодня там было столько рыбы, что не протолкнуться. Она не разрешала воды набрать, говорила – самим не хватает. Но я объяснил, что это не мне, а детям. Раз детям, тогда ладно, ответили рыбы.

Папа брал кружок картошки с колечком лука, ел с брынзой, причмокивая.

– Господи, как же вкусно! – говорил куда-то вверх. Мы запрокидывали головы. Наверху были облака, солнце, ветер. И больше, наверное, ничего. Но папа смотрел так, словно кого-то там видел.

Мы нерешительно переглядывались. Тянулись за хлебом и сыром. Папа делал вид, что не замечает этого. Продолжал рассказ с прерванного места.

– Потом я затопил печку. Поставил вариться картошку. А сам знаете куда пошел?

– Куда?

– Собирать желтые лютики. Целый букет собрал. А потом оборвал лепестки и заправил ими картошку. Думаете, это масло? Ничего подобного. В горах готовят не на масле, а на цветах. Ясно?

– Ясно, – отзывались мы с набитыми ртами.

Картошка на лютиковых лепестках была невообразимо, бесконечно вкусной. Пока мы ее доедали, папа сидел рядом и рассматривал ущелье.

На ужин он крошил в мацун горбушку, посыпал сахарным песком, размешивал ложкой, рассказывал, что положил не сахар, а клевер – вы ведь знаете, какие у него сладкие соцветия, правда? Нет? Сейчас узнаете.

А еще он учил нас стрелять растениями. Обернет стебель вокруг мохнатого соцветия змеевика, дернет резко – и головка цветка летит стрелой. Это чтобы от волков защищаться, если они обступят нас со всех сторон.

Или же показывал, как плести ожерелья из хвоинок – прошелся зубами по хвостику, чтобы тот стал податливым, воткнул туда иголку – получилось звено. Поддел его второй хвоинкой, сомкнул в круг… Ожерелья пахли смолой и дождем. Видно, потому, что плели мы их в дождь, когда нечем было больше заняться.

А еще папа учил нас играть пестрой овсяницей в угадайку. Спрашиваешь – петух или курочка? Потом плотно обхватываешь пальцами колосья и одним махом обрываешь. Если из пучка торчит «перышко» – это петушок. Если пучок кругленький, значит, это курочка. Угадавшему полагается один засахаренный орешек. Проигравшему – два. В утешение.

Недавно составляла список, чему еще не успела научить своего сына.

Первым пунктом значится воинственное «показать, как стреляют соцветиями змеевика».

Июль

Тата говорила – ближе всех к небесам старики и дети. Старики потому, что им скоро уходить, а дети потому, что недавно пришли. Первые уже догадываются, а вторые еще не забыли, как они пахнут, небеса.

Я была маленькая и глупенькая. Слушала вполуха, вертелась. Мне казалось – ну чего тут сложного? Небеса пахнут воздухом. Иногда теплым, иногда колючим. Или дождем, когда идет дождь. Или снегом. И вообще, воооон они, совсем рядом, встал на цыпочки – и прикоснулся. Когда живешь на краю синего ущелья, это ведь совсем не сложно – дотянуться до небес.

Тата говорила: «вот мой младший брат, например…» И умолкала. Я сидела рядом, теребила край рукава. Ждала, когда продолжит, но она молчала. Может, видела наперед и не хотела меня расстраивать. А может, это было все, что она считала нужным мне рассказать. Вот мой младший брат, например… Остальное – тишина.

Таты давно уже нет, и я теперь договариваю за нее – вот твой младший брат, например. Несчастный старик, отрекшийся от всех, даже от собственных детей. Сумасшедший гений, запертый навсегда в себе… Договариваю-дописываю то, что она не захотела мне открыть.

Иногда я ходила за ней хвостиком. Куда она – туда и я. Молча ходила, шаг в шаг. Тата делала вид, что не замечает меня, занималась своими делами. Только рассуждала вслух. Вот, говорила, молодая невестка Ясаман, например. Вывесила белье так, что сразу видно – девочка не из наших краев. Надо ведь по ранжиру, по типу, по цвету. Тут маленькое, там большое. Темное ближе к веранде, светлое – подальше.

Мы стояли, одинаково прикрыв от июльского солнца ладонью глаза, и наблюдали, как полощется на ветру бестолково развешенное невесткой Ясаман белье.

Большой пират и маленький. Она и я.

Тата любила молча. Прижмет к груди – и сразу отпускает. Целует бережно, в макушку. Называет полным именем, не сюсюкает. Смотрит в глаза. Лишь однажды отвела взгляд. Когда я спросила, выздоровеет ли она. Не захотела обманывать.

Потом, спустя много лет, она мне приснилась. Глядела исподлобья, не улыбалась. Я понимала ее, не плакала, не просила прощения. Потянулась обнимать, но она сделала запрещающий жест рукой – нельзя, не сейчас. С того сна я пытаюсь простить себе ошибку, которую совершила много лет назад. Не рассказываю никому, даже сыну, молчу.

Сыночек, вот моя жизнь, например… Остальное тишина. Догадаешься – расскажешь потом за меня.

Я давно не маленькая и, наверное, уже не глупая. Не знаю, сколько мне отпущено дней и наступит ли когда-нибудь завтра.

Но в одном я уверена совершенно точно – небеса пахнут так, как пахли руки моей Таты. Свежевыпеченным хлебом, сушеными яблоками и чабрецом.

Август

Август наступает раньше, чем ты ожидал. Раньше, чем готов был осознать, что кажущееся вечным лето – на исходе. На излете.

Дни стоят жаркие и душные, под камнями спят рыбы, а мох на речных валунах выгорает так, что если растереть в ладонях – остается горстка пыли.

Полдень приближает стрекот цикад, полночь – пение сверчков. Так и живешь – от цикад до сверчков. Умолкнут они – наступит осень, отправит вперед себя вереницы туч, на восток, на восток, навстречу солнцу. Ждать его не дождаться. До весны.

Потолок веранды обвешан сосульками обсыхающей чурчхелы.

– Виу-виу, – плачет Белка.

– Захрмар! – выговаривает ей Тата. – Позорище, а не собака.

Белка прячет нос в лапы. Левое ухо стоит торчком – перебинтовали. Летела не глядя, вписалась головой в перила, застряла. Еле вытащили. Ухо порвала, глупенькая, теперь всем жалуется.

– А глаза твои где были? – спрашивает Тата.

Белка пристыженно косится на потолок веранды.

– Горе горькое, – вздыхает Тата, отрывает кусочек чурчхелы и кормит ее с ладони.

Август, время замедлило ход и изменило суть вещей. Если встать по левую сторону растущей вкривь лавровишни и посмотреть вверх, кажется, что ковш Большой Медведицы цепляет хвостом трубу соседского дома. Кто кого перевесит, дом или звезды? Дом вот он, совсем рядом, пахнет камнем, хлебом и людскими руками. А что там со звездами в их далекой небесной дали – бог его знает! Или не знает?

У Заназан умерла свекровь. Гроб повезли на старенькой телеге, вниз по рыжей деревенской дороге.

– Цо-цо, – поторапливал ослика погонщик. Ослик переступал истертыми копытцами и плакал невидимыми слезами.

Положили рядом с сыном и мертворожденным внуком. Заназан смотрела, не отводя глаз. Ветер трепал на плече медную косу. Бедная, бедная Заназан, теперь она осталась совсем одна. В этом городе все сошли с ума от войны, но никто об этом не догадывается. Знает только Заназан. Знает, потому молчит.

Август, небо ниже гор, пчелы ленивы и неторопливы, ночи нестерпимо тихи, а под утро выпадает столько росы, что хоть горстью черпай.

– Спина лета сломалась, – говорит Тата.

Прощай, лето. Прощай.

Сентябрь

Первой пациенткой, которой папа сделал вставную челюсть, была девяностолетняя подруга его прабабушки Шаракан.

– Зачем идти к другим специалистам, когда наш Юрик – врач? – выдвинула непотопляемый аргумент Шаракан и привела свою подругу к правнуку, который буквально на той неделе приступил к работе в поликлинике.

Папа ужасно разволновался. Еще бы, первая в жизни вставная челюсть, практически боевое крещение. Кое-как взяв себя в руки, он смешал гипс и нечаянно забил им горло пациентки. Испугавшись, что та задохнется, кинулся рьяно его выковыривать. Шаракан смекнула, что правнук напортачил, оттеснила его плечом и лучезарно улыбнулась подруге.

– Все в порядке, Варданушш, все хорошо.

Варданушш скорбно замычала в ответ.

– Юрик-джан, – обратилась с укором к правнуку Шаракан. – Из цемента, который ты потратил на нее, можно было двухэтажный дом построить. С пристройкой для скота. Как можно быть таким расточительным?

– Немного промахнулся в расчетах, – виновато пробурчал папа.

Шаракан сжалилась над ним.

– Ничего, все у тебя получится. Ты, главное, экономить научись.

И, встав на цыпочки, погладила его по плечу.

Настал день примерки. Старушки пришли в поликлинику нарядные, в светленьких косынках и шелковых фартуках. Прабабушка усадила подругу в кресло, встала рядом и кивнула правнуку – начинай.

Папа велел Варданушш открыть рот, надел ей протезы и похолодел – зубы получились раза в три больше человеческих. Варданушш смотрелась в них, как клыкастая акула империализма со страницы сатирического журнала «Крокодил».

– Закрой рот, – велела ей прабабушка.

Варданушш беспомощно клацнула зубами. О том, чтобы закрыть рот, не могло быть и речи. Губы пациентки едва прикрывали края искусственных десен.

– Варданушш-джан, великолепные зубы, просто великолепные! – зазвенела колокольчиком Шаракан и отошла от кресла на такое расстояние, чтобы подруга ее не видела.

– Юрик, ты зачем ей ослиные зубы сделал? – оглушительным шепотом спросила она.

Варданушш всхлипнула.

– Ничего не ослиные, – оскорбился папа.

– Конечно, не ослиные, осел бы от голода подох, будь у него такие зубы. Ими даже жевать невозможно!

Варданушш слезла с кресла, сковырнула пальцем протезы, поставила их на стол и прошамкала:

– Сынок, когда маленько подкоротишь, зови. А я пока домой пошла.

И направилась к выходу. Прабабушка со вздохом последовала за подругой. На пороге обернулась:

– Юрик-джан, ты, главное, экономить научись. Вот смотри: если распилить эти зубы вдоль пополам, получится два нормальных протеза. Ты распили, один отдадим ей, а второй я буду носить. Не выбрасывать же.

И ушла.

Папа потом, конечно же, сделал нормальную вставную челюсть. Но пока он бился над ней, Варданушш носила ту, клыкастую. Только рот платком на манер карабахских женщин повязывала. Чтоб народ не пугать и горло по вечерней сентябрьской прохладе не застудить.

Октябрь

В Берде время течет совсем не так, как в больших городах, здесь оно медленное и тягучее, словно забывшая о дождях августовская река. Я по-новому привыкаю ко всему, от чего успела

отвыкнуть в городе: к громкому ходу механических часов, которые раз в полчаса бьют тяжелым кашляющим боем, к лаю дворовых собак и недовольному квохтанью домашней птицы, к вкусу кисловатого, на настоящей закваске, домашнего хлеба, к аккуратным рядам бережно прикрытых от влаги брезентом поленниц – вы помните, как пахнут колотые дрова? Вы знаете, что они пахнут?

В Берде жалко спать. В пять часов утра за окном непроглядная ночь, каменные молчаливые дома и осенние, не успевшие облететь деревья. Луна висит над Хали-каром неповоротливым мельничным жерновом, бесшумно падает первая роса, отдающая к рассвету травами и терпковатым мускатным виноградом – здесь он обвивает стремительной лозой даже фасады пятиэтажных домов, что уж говорить о частных домах с их деревянными верандами и стеклянными шушабандами, обвешанными гроздьями, словно рождественская ель – стеклянными шарами.

В центре городка торчит новая белая церковь – мы с сестрой отводим глаза, проходя мимо, у церкви гладкие высокие стены и основательный вид, она возвышается своими куполами над старенькими шиферными и черепичными крышами, над корявыми трубами дровяных печей, над вековыми орешинами и тутовником, над миром. Неужели в приграничном безработном городке, где есть старенькая, но вполне пригожая часовня двенадцатого века, новая церковь была такой уж неотложной необходимостью? Неужели мало было других забот? Никогда не понимала этого и не пойму, потому иду мимо, отводя глаза. Бог не там, где ему назначат быть люди. Бог везде.

Прошлись по дороге, ведущей в школу. Вниз, к большому мосту, а потом вверх – на пригорок. Сестра смешно рассказывала, как однажды возвращалась после уроков домой, скучный день не сулил ничего непредсказуемого, она плелась по дороге, тащила тяжеленный портфель, вертела шеей, рассматривала унылый октябрьский пейзаж. Вдруг сверху вырулил велосипед – она успела разглядеть десятилетнего сына нашей соседки тети Сильвы, который очень уверенно, не делая попыток притормозить, скатился на большой скорости с пригорка, врезался в перила моста и с невероятным самообладанием и достоинством, не теряя невозмутимого выражения лица, описав в воздухе красивую дугу, полетел вниз. Сестра от испуга выронила портфель. Подойти к краю моста побоялась, но прислушалась. Ничего, кроме шума реки, не различив, побежала за тетей Сильвой. Тетя Сильва развешивала простирнутое белье. При виде всполошенной соседской дочери лишних вопросов задавать не стала и, как была, в домашнем халате и с алюминиевыми бигуди в волосах, побежала спасать сына. А под мостом, среди поломанного кустарника и прочей сильно пострадавшей ботанической рухляди, сидел бедокур и егоза Араик и, стараясь не двигать сломанной ногой, молча и остервенело чинил велосипед.

Город меняется, он уже не мой, он никогда и не был моим, но не говорите мне об этом, я не хочу этого знать. Мы бродим с сестрой по старым улочкам, выискиваем привычные с детства ракурсы, а на самом деле, наверное, ищем себя – за перилами моста, на крыше обвалившейся печи, в тени огромного клена – мы выросли, а он так и остался большим, ты замечала, как красиво стареют клены, спрашиваю я, и сестра кивает – знаю.

В мире много красоты – высокие водопады, золотистые песчаные дюны, зазубрины синих хребтов, бескрайние лавандовые поля. И вся эта красота – не моя. Моя красота за кривыми частоколами, за низенькими каменными порогами, за скрипучими деревянными полами, за чадящими керосиновыми лампами, за глиняными карасами, в узком горлышке медного кувшина моей нани. Моя красота там, где меня уже нет.

Ноябрь

Месяц раздумий. Терновый месяц, пряный. Пахнущий гранатовым боком, грецким орехом и шершаво-терпкой, стремительно темнеющей на срезе айвой.

Тата макает ореховое ядрышко в мед, подставляет ладонь ковшиком – чтобы не капнуло на скатерть, и протягивает мне – ешь.

Я ем.

– Слышала журавлиные крики? – У Таты золотистые глаза и длинные ресницы. На виске, чуть выше брови, бьется одинокая жилка.

– Слышала, – бубню я.

Она делает вид, что верит мне.

– Знаешь, что они кричали?

– Нет.

– Мы вернемся.

Тата отрывает от круга домашнего хлеба горбушку, выковыривает мякоть, откладывает в сторону – курам. Заталкивает вместо мякоти ореховые половинки и протягивает мне.

– Ешь.

Я ем.

– Тат, ты понимаешь журавлиный язык?

– Нет.

– Тогда откуда ты знаешь, что они кричат?

– Мне бабушка сказала.

– И ты ей поверила?

Тата смотрит в меня своими ореховыми глазами.

– Да.

Ноябрь.

Туманы стали гуще и непроглядней, уходят долго, нехотя, цепляясь тюлевыми подолами за деревянные заборы. Слышен дальний зов реки – холодная, пенная, она бежит, задыхаясь, вперед себя, рассказывает каждому, что на горный перевал надвигаются снега, она видела, она знает.

– Хочешь вина? – Дядя Жора протягивает глиняную чашку.

– Разве мне можно?

– Это трехдневное вино, совсем молодое. Когда забродит – будет нельзя. А пока можно. Пей.

Я пью.

Вино сладко щекочет нос. Я причмокиваю губами.

– Вкусно. Похоже на лимонад.

– Вкусно, да.

Дядя Жора немного сумасшедший. Папа говорит, что он математический гений. Однажды его мозг не выдержал напряжения и сошел с ума. Ноябрями дяде Жоре становится совсем тяжко. Он уходит в леса, питается желудями, шиповником и неспелыми плодами мушмулы. Смотрит часами в небо, шевелит беззвучно губами, словно разговаривает с кем-то. Выводит сухой веточкой на влажной земле странные математические формулы. А потом стирает их и плачет.

На излете осени дядя Жора часто плачет. Впереди зима, он ее чувствует.

Он видел, он знает.

Вечер пахнет густым мычанием коров, ржавым затвором калитки и дровяной печкой. Нани разрезает картофель на тонкие дольки, раскладывает на раскаленной печке, посыпает крупной солью. Картофельные ломтики схватываются румяной корочкой, скворчат. Нани подцевает их краем ножа, переворачивает на другой бок.

Я цепляю кочергой задвижку, распахиваю дверцу, ворошу поленья. Печка гудит, довольная, дышит жаром.

– Цлик Амрам не ждал такого предательства. Виданное ли дело, чтобы любимая жена изменила тебе с царем, которому ты преданно служил всю жизнь! Он запер ее в крепости и поднял против него восстание. А когда потерпел поражение – подарил все свое княжество грузинскому царю. Чтобы оно не досталось царю армянскому.

– И что было потом?

– А что было потом. Княгиня повесилась в крепости – не вынесла позора. Грузинский царь вернул имения Цлика Амрама армянскому царю, ведь они с армянским царем были троюродными братьями, оба из рода Багратуни. А Цлик Амрам остался ни с чем – без жены, без княжества, без былого величия.

Нани вздыхает, качает головой.

На краю холма раскинулась старая крепость. Вернувшийся к вечеру туман окутывает ее развалины непроницаемой пеленой. Где-то там, в этих затопленных туманом развалинах, до сих пор бродит призрак княгини Аспрам.

– А что стало с Цликом Амрамом?

– Не знаю. Наверное, умер с горя. Да и кто сможет такое пережить?

Нани перекладывает готовый ципул в толстодонную тарелку, обмазывает каждый картофельный ломтик сливочным маслом, сверху выкладывает кусочек брынзы. Дует на ципул, чтобы он быстрее остыл. Протягивает мне.

– Ешь.

Я ем.

Декабрь

На перевал зима наступает разом, нахрапом, не предупреждая и не щадя, выключая звуки и стирая цвета. Словно не было вчерашнего ноября с его голубовато-пыльными ягодами терна, с перезрелым шиповником – шкурка треснула, обнажив ватную мякоть и острые косточки, с запахом забродившего вина – сейчас оно колючее, сладко-шипучее, а к середине декабря нальется вкусом, заматереет, подернется терпкостью и кислинкой, будет переливаться в бокале обманчивой легкостью. Кто пил, тот знает цену этой легкости – перебрал хоть немного – и спишь беспробудным каменным сном до утра.

Когда на перевал приходит зима, у людей на какое-то время заканчиваются слова. Это благословенная и целительная немота – молчи, смотри в окно, привыкай к себе. Нет ничего такого, что бы укрыло и защитило от себя – ни суетливой осенней шелухи, ни летних скоротечных дождей, ни весеннего щебета птиц. Ты и ты.

Там, за ледяными плечами перевала – поморы-великане, их уже мало, но они есть – суровые, неприступные люди-камни. Каждый – частичка твоего сердца, каждый – толика твоей души. Пройдет не одна лавина, пока снова откроется тропа, ведущая туда. А пока – так. Без связи извне, в снежном мóроке, в оглушительной, всесильной, мерцающей тишине.

Когда на перевал приходит зима, она первым делом достает игрушки из рукава. Вденет суровую нитку, повесит на еловую ветку, зажжет огни. Любуйся и наматывай на палец дни: Анна Темная – в час битвы страшных сил с Божиим светом, настороженно-молчаливые Емельяны Перезимники, крик рожениц в Бабьи каши, ряженые многоликие Колядки, гоняющий ведьм Афанасий Ломонос, сшибающий рог Зимы Онисим-овчар, Фарисеева седмица, неделя Страшного суда…

Набрал полную грудь воздуха, нырнул, словно рухнул, в страну трехглавых змиев и жар-птиц, болотников и болотниц, серых волков и премудрых девиц. Хватило бы дыхания выплыть.

А дальше сам, сам. По робкой наледи, на спине сом-рыбы, по блеклому следу одинокой звезды – туда, где зима плетет свои кружева. Где, свернувшись калачиком, спит детвора. Где армянская бабушка поет «Оровел», а русская заговаривает сны на воде и молится на пустую

нишу в стене. Запомнить все, что расскажут твои мертвецы, потому что говорить они умеют только снежными ночами. Предки-поморы это точно знали, они их ждали, разводили огонь в печи, оставляли немного еды – на случай, если те голодны, и морошковой настойки – если захочется пить. Главное, не шуметь и не мельтешить. Закрой глаза, слушай. Молчи. Зима – время тех, кто ушел.

Наринэ Абгарян

Для меня Аствацатуров точен в своих отсылках в наше общее прошлое и настоящее. С полуулыбкой. Без снобизма. Очень остроумно и самокритично. Философ с отличным чувством юмора, живущий этажом выше.
Дмитрий Чеботарев, актер театра и кино

Ночное купание

Среди петербургских гуманитариев Гриша Лугин считался грубияном и безобразником, и некоторые утверждали, что в этом качестве он скоро отнимет пальму первенства у самого Топорова.

Помню, Лугин рассказывал, как однажды поехал с любовницей купаться ночью, а в результате попал в вытрезвитель и был изгнан с академического олимпа. Дело было на шуваловских озерах. Стояла теплая чернильная ночь, рассказывал Лугин, матово светила луна, напоминая то ли светлый циферблат, то ли чью-то круглую светящуюся во тьме задницу. Короче назначились обстоятельства, вполне располагающие к карнавалу. Лугин и его подруга изрядно выпили и резвились в воде как поросята, бегали, прыгали, брызгались. Лугин хватал свою подругу за всякое, а она, как положено девушке из хорошей семьи, протестовала веселым громким визгом. Видимо, слишком громким, потому что вскорости к озеру подъехал милицейский бобик. Включенный свет фар поймал две фигуры, стоящие в воде по пояс. Одна со всей очевидностью принадлежала особе женского пола. Из бобика вылезли милиционеры. Сколько их было, Лугин не помнил. Старший – видимо он был старшим – приблизился к воде и крикнул:

– Он тебя что, насилует?!

– Да! – глупо закричала лугинская подруга. – Насилует! Помогите!

Милиционеры решили помочь. Лугину удалось, как он сам рассказывал, выскользнуть из-под света фар через какие-то камыши на берег, где его никто не ждал, и на какое-то время даже оторваться от своих преследователей. Он как был, без трусов, рванул по асфальтированной дороге в сторону жилья, но вскоре его стали настигать. В какой-то момент он услышал позади себя шум мотора и увидел надвигающийся свет фар.

– Мужчина, остановитесь! – приказывали ему через мегафон. – Повторяем, мужчина, остановитесь!

Но Лугин решил не останавливаться.

– Русские не сдаются! – кричал он в ответ и продолжал бежать из последних сил. Ему казалось, что его несут воздушные сандалии, как Персея или самого бога Гермеса.

– Ты че, Лугин, в лес не мог свернуть? – смеясь спрашивали его.

– Ну приплыли, – сочувственно вздыхал Лугин, – колобок закатился за лобок. У меня ж ноги были голые, а там иголки!

Милиционеры били его дубинками недолго, без энтузиазма, посмеиваясь.

В официальной бумаге, которую через две недели прислали на имя ректора, значилось следующее:

«23.05.1989, гр. Лугин Г. Я., студент ЛГУ, был задержан дежурным патрулем на пляже Шуваловского озера. Гр. Лугин Г. Я., находился в нетрезвом состоянии, не мог самостоятельно передвигаться и был доставлен в медвытрезвитель № 24».

– Это я-то не мог передвигаться?! – возмущался Лугин в кабинете декана. – Я?!

Декан, пожилой профессор, молча положил перед ним приказ об отчислении и сочувственно развел руками.

– Гоните, да?! – закричал Лугин. – Верного слугу гоните?! Как Белинского, да?! Как этого, значит… как Пушкина?!

Декан внимательно поглядел на него и, улыбнувшись, произнес:

– Пушкин в университетах не учился, Григорий Яковлевич. У него было только среднее специальное образование.

В результате Лугин уехал доучиваться в Эстонию. Там любили пострадавших из России.

Андрей Аствацатуров

Про то, как кенгуру «живет с слоном»

Недавно сосед Алексей Петренко заговорил со мной о моей бывшей жене Люсе, проживающей ныне в США в каком-то небольшом городке. Оказывается, они общаются. Она замужем, счастлива и по-прежнему пишет стихи и по воскресеньям поет в местном кафе русские романсы. В связи с ее поэтическими упражнениями я вспомнил одну историю десятилетней давности. Я забыл многие события нашей совместной жизни, но этот эпизод почему-то в моей памяти сохранился.

Тысяча девятьсот девяносто девятый год. Время мутное. Я только что закончил университет, женился на своей однокурснице, полноватой девушке Люсе, и моя жизнь начала стремительно набирать скорость.

Главное, не совсем было понятно, что делать. Я снова как в школе остался наедине с самим собой. Вокруг – опять люди в голом. Теперь уже голодные, жалкие, опасные дикари, вооруженные палками-копалками и дубинами. Но что-то нужно было делать. То ли торговать, то ли писать диссертацию. Денег катастрофически не хватало. Даже на еду. Впрочем, еды в магазинах было немного.

И вот мой приятель Андрей Степанов нашел себе и мне небольшой приработок. Издательство с загадочным названием «Тайны здоровья» решило публиковать популярные книжки и поручило ему (а значит, нам обоим – как мне Степанов сказал по телефону) переводить с английского знаменитую сагу о строгой волшебнице Мэри Поппинс. Гонорар обещали выплатить по окончании работы. Деньги – не безумно большие, но приятные.

Вот так удача.

Мы сели за перевод.

Степанов сразу назначил себя главным. Он был старше, и, следовательно, умнее. Помню, как он систематически отчитывал меня за низкое качество перевода, плохое знание английского и общее скудоумие. Каждый брал свою порцию глав и переводил у себя дома. В конце недели мы встречались и читали друг другу переведенное. Если надо поправляли друг друга. Причем, в основном, меня. Все шло по плану. Но в один прекрасный день, работая над очередной главой, я наткнулся в тексте на старое детское стихотворение, коим писательница решила разнообразить прозаическое повествование.

Я в панике позвонил Степанову.

– Степанов! – заявил я с ходу. – Тут у меня стихи в тексте. А я стихи переводить не умею!

– Что не умеешь? – переспросил он и тут же взорвался. – Меня не волнует! Твоя глава – ты и выкручивайся! Мне свое нужно переводить! Тебя и так все время исправлять приходится, так что сделай хоть раз что-нибудь сам!

В трубке послышались короткие гудки. Потом Степанов, похоже, слегка оттаял и перезвонил (он всегда меня считал слегка туповатым и делал на это скидку). – Ладно, – сказал он уже мягче, – не мучайся. Но хоть попытайся! Если ты так ничего не придумаешь, позвоним Ване Писаренко. Он все-таки поэт.

– Ваня Писаренко, – возразил я, – авангардист. Он может переводить разве что какого-нибудь Сен Жон Перса. А с детскими стихами не справится.

– Нальем – справится! – решительно заявил Степанов. – Но лучше бы ты сам все сделал.

– Ладно, попробую.

– Пока! Вечером встречаемся у меня, приноси перевод.

Я повесил трубку и вернулся к письменному столу, к стихотворению. Стихотворение рассказывает об истории Ноева ковчега. Детские простенькие слова: в ковчеге каждой твари было по паре, а кенгуру пары не нашлось, и ее поставили в пару со слоном. Вроде бы – все понятно. Не понятно только, как это изложить в стихах. «Может, – подумал я, – верлибром

перевести?» Сидел где-то час, никаких мыслей так и не появилось. Наконец я сдался и позвал на помощь жену.

– Слушай, Люся. Ты ведь стихи пишешь. Переведи вот это. У меня не получается. Все равно заработанные деньги будут общими. А я, чтоб не терять время, буду дальше работать.

– Хорошо, – ответила Люся. – Переведу.

Я написал ей подстрочник. Она взяла его и отправилась на кухню рифмовать, а заодно и попить кофе. Через два часа я закончил работу и собрался идти к Степанову. Перед уходом заглянул на кухню к Люсе.

– Ну что, перевела?

– Перевела, – отвечает она как-то смущенно. – Только, знаешь… Нужно немножко в одном месте подправить.

– Ерунда! Степанов подправит.

Она протянула мне листок сложенный вчетверо.

– Спасибо, – ответил я. Сунул, не глядя, листок в папку, оделся и отправился к Степанову.

У него дома мы раскрыли листок, и я прочитал вслух следующее:

«В КОВЧЕГЕ ВСЕ ЖИВУТ ВДВОЁМ.
И ЭТО КАЖДЫЙ ЗНАЕТ.
А КЕНГУРУ ЖИВЕТ С СЛОНОМ!
ТАКОЕ ЗДЕСЬ БЫВАЕТ!»

Степанов удивленно приподнял брови и погрузился в молчание. Мне даже показалось, что прошла целая минута. Наконец я собрался с духом и сказал:

– Ну как тебе? По-моему неплохо… Только вот это «с слоном», по-моему, не вполне удачно? «Со слоном», понятное дело, правильнее, но зато в ритм не укладывается. Как думаешь, оставим все как есть… или что?

А он взял у меня листок со стихотворением, потом протянул мне его обратно и мрачно сказал:

– Знаешь, ты этот перевод не выбрасывай! Мы его потом в какой-нибудь авангардистский журнал отошлем.

Стихотворение спустя две недели перевел Ваня Писаренко. Получилось, кстати, очень неплохо. Но даже теперь первый Люсин перевод мне нравится значительно больше. А этот новый я позабыл. Наверное, это потому, что я до сих пор еще люблю Люсю, а заносчивый авангардист Писаренко мне совершенно безразличен.

Андрей Аствацатуров

Муж Маши Сидоровой

Три дня назад в переходе меня остановил худой небритый мужчина с хмурым лицом.

– Вы, – говорит, – Асва-та-ца-та…

– Да, – сухо перебил я, – что-то в этом роде.

И посмотрел «строго и со значением». Так обычно на людей смотрят заведующие кафедрами, особенно недавно назначенные. Мол «что вам, гражданин, угодно».

– О! – обрадовался мужчина. – А я – Кирилл, помните?

Нет, Кирилла я не помнил.

– Ну, Кирилл же, – подсказал он доброжелательно, – муж Маши Сидоровой.

Это его «муж Маши Сидоровой» нисколько не внесло ясности и даже немного вывело меня из себя. С таким же успехом он мог сказать «я – муж Иры Петровой» или «Жени Ивановой».

Было шумно, мимо нас в обе стороны шли люди.

– А-а… – чтобы показаться вежливым, я всей физиономией изобразил узнавание и выдавил улыбку… – Здрасьте… А вы… это какими тут, как говорится, судьбами… живете здесь, да?

Муж Маши Сидоровой насупился и коротко кивнул. Живу, мол. Повисла пауза.

– Ладно, – произнес я, наконец, и, чтобы выглядеть любезным, а главное поскорее закончить разговор, добавил: – Маше большой привет.

Муж Маши Сидоровой взглянул на меня, будто не понимая, и вдруг лицо его сделалось бешеным.

– Маше?! – закричал он. – Маше привет?! Какой еще «привет»?! Мы с ней развелись пять лет назад! Она мне изменила!

Я сочувственно покачал головой и поспешил откланяться.

– Привет… привет еще ей, стерве, передавать! Не на того напал… – слышал я за спиной.

Оказался, как видите, виноват.

А ведь всего-навсего хотел показаться вежливым.

Андрей Аствацатуров

Александр Боровский фиксирует дух советского периода и дает тонкую, ироничную и в то же время теплую оценку всему тогда происходящему. При этом не хулиганит как Цыпкин, а последовательно и деликатно умиляется истории.

Юлия Хлынина, Российская актриса театра и кино

Ван Эйк

Мне лет десять. Гурзуф, Дом творчества художников. Там был директор, крупный, ядреный, не старый еще человек, седовласый. Отличался, по контрасту с благородной внешностью, чрезвычайной угодливостью к художникам «в силах»: академикам, секретарям творческих союзов и пр. Встречал, провожал, подсаживался в столовой. Моим родителям он чрезвычайно не нравился: во-первых, пытался не пускать меня в номер – якобы детям нельзя. На самом деле детям начальников было можно. Меня же и других не номенклатурных детей втаскивали в окна первого этажа на простынях, поначалу и до того доходило. Потом утряслось. Но главное, директор раздражал именно этой искательностью, уже несколько старомодной по тем временам. Он перебарщивал, это и старшие товарищи понимали. Однако принимали с улыбочкой: чего же вы хотите – старая школа, отставной энкавэдист. И тут происходит следующее. Приехала отдыхать художница из Киева, старая еврейка (это я потом из разговоров родителей узнал, но не очень тогда представлял, что это слово значит), больная, с трудом поднимавшаяся по ступенькам. Неноменклатурная – директор ее не встречал. Случайно столкнулись в вестибюле. И мы там оказались, шли с пляжа, что ли. И вот эта пожилая женщина, увидев директора, впала в истерику.

– Это он, он пытал меня в тюрьме в Могилеве, перед войной. Подлец, инвалидом сделал. Это он, старший лейтенант такой-то.

Что-то на о… Криворученко? Не помню… Кстати, у директора была другая фамилия, что не удивительно, как я теперь понимаю. Кадры берегли. Тех, кого не расстреляли под горячую руку на антибериевском пике, снабдили новыми фамилиями и пристроили втихую на хлебные места.

– Помнишь меня, мерзавец?

Директор, надо сказать, отнесся ко всему хладнокровно. Видно, не впервой ему попадались бывшие: все-таки дом творчества художников, контингент сложный, засоренный. Он бочком-бочком ретируется. И попадает в руки к оказавшемуся рядом отцу с его физической крепостью и всегдашней готовностью дать плохому человеку по морде. В данном случае подогреваемой очевидностью ситуации: сталинский палач, холеный и сытый, жертва-инвалид. Время хрущевское, антикультовый заряд еще не иссяк. К тому же гад: пытался ребенка не пустить в комнату, а перед всякой сволочью выслуживается… Кара была неотвратима. Даже энкаведист смирился и кричал что-то совсем уж неприличное:

– Не я это был, обознались. – И отцу: – Ответите!

Даже мама не делала запретительных жестов. Собиралась небольшая толпа художников. Сочувствующих директору не находилось. Даже помощники отцу выискались. И уже белая холщовая рубаха директора (под поясок, тогда уже казавшаяся старомодной, безобидно бухгалтерской, из фильмов тридцатых годов) затрещала. И первый раз по загривку дали – хлопок такой резкий прозвучал. И тут появляется фигура Андрея Андреевича Мыльникова. В пляжной пижаме. Он уже, кажется, был академиком и лауреатом, профессором уж точно. Он удивительным образом сочетал в себе высокого эстета, эдакого прерафаэлита, и ленинградского убежденного карьериста. Конечно, и у него бывали срывы. На каком-то высоком съезде он выступал с речью от лица творческой общественности. Доверительно обращаясь к старцам президиума, сидевшим на возвышении под портретом Ленина его работы (эта чеканка на металлическом занавесе Дворца съездов присутствовала в телекартинке почти постоянно: в Кремле заседали и отмечали в режиме non-stop), он совершенно неожиданно вспомнил пушкинское: «Нет правды на земле. Но правды нет – и выше». Слава богу, это уведомление не было воспринято дремлющими старцами адекватно, Андрею Андреевичу повезло. Но в целом он строго соблюдал баланс. Такой вот этатический эстетизм. Словом, человеческий и творческий

тип был незаурядный. Так вот, Андрей Андреевич подошел неслышно. Он мгновенно оценил ситуацию. Не то чтобы он сочувствовал энкаведисту, вовсе нет. В ленинградской интеллигенции, даже успешной и чиновной, жила затаенная ненависть к этому сословию. Были причины. Опытный Мыльников с ходу просчитал последствия. Скандал с возможными политическими нюансами никому не был нужен. Тем более скандал в его присутствии. Барски снисходительно он взял отца под руку. И показал на старинные напольные часы (бог знает, откуда попавшие в Дом творчества). Там, на бронзовом круглом маятнике, как в мутном выпуклом старинном зеркале, отражалась, с небольшим искажением, вся эта группа.

– Посмотрите, Дима, вылитый Ян ван Эйк. Чета Арнольфини.

С этими словами он достойно удалился. После такой высокой эстетической планки бить гада было уже несподручно. Дали пинка, и он исчез. Недели на две. Новую смену он уже встречал, как ни в чем не бывало: заискивал перед начальниками, отчитывал рядовых членов творческого союза. Пятьдесят лет прошло. Отца и матери уже нет. Мыльникова тоже. И когда бываю в Лондоне, в Национальной галерее, и когда просто попадется под руку репродукция, внимательно рассматриваю «Портрет четы Арнольфини»: молодой негоциант с женой, и на заднем плане – круглое зеркальце. Там эта пара, соответственно, изображена зеркально, зато виден художник в тюрбане и еще какой-то человек. И все. И никакого ответа.

Александр Боровский

Душечка

Тип чеховской Душечки у меня ассоциируется с одной искусствоведшей, Аленой Н. Очень милой женщиной, знающей, работавшей в московском музее. Я позвонил ей – дело было лет тридцать назад – после какого-то вернисажа, выпивший. Люди мы не местные, питерские. Как-то не озаботился, где в Москве переночевать, ну и напросился. Времена были легкие. К тому же знал, что она замужем. Так что никаких подводных камней быть не могло. Она легко согласилась, правда, предупредила: муж у нее уже другой, не тот, которого я знал, и просила ничему не удивляться. И вот я в квартире, раскланиваюсь с мужем, молодым человеком довольно странного вида: он был бородат; несмотря на позднее время и домашнюю ситуацию, одет в ветровку и вообще напоминал бесконечно далекий от нашего круга типаж итээровцев-туристов, из этих, «с гитарой за туманами». Вообще казалось, он только от костра, от мошкары, пропахший дымом… О дезодорантах большинство населения СССР вообще тогда не слыхивало… Как обещано, я не выказывал удивления. Но в комнате (а это была большая комната в коммуналке) раскрыл рот: посредине стоял большой надувной плот с какой-то – не знаю, как это называется, – каюткой-шалашиком посередине.

– Ты не удивляйся, – сказала Алена. – Мы теперь плотогоны. То есть мой муж плотогон, капитан плота, а я так, но экзамен на судовождение (или, скорее, плотовождение) уже сдала… По-настоящему будет, конечно, большой плот, а не надувной матрас, это мы так, привыкаем. Весной сплавляемся.

Мне постелили в коридоре на диванчике. Сами хозяева полезли в каюту-шалаш. Привыкали. Спал я плохо: снился то ли Енисей, то ли Ангара, бревна под ногами ходили. Под утро, никого не разбудив, крадучись, ушел. С огромным облегчением. Пару лет звонить побаивался. Встретились в Третьяковке на очередном вернисаже. Алена доложила, что все нормально, карьера в порядке, но муж уже другой. Говорила с таким нескрываемым трепетом, что я побоялся спросить – кто, чем занимается? К чему привыкают? Душечка.

Александр Боровский

Ум, достоинство, сдержанность, интеллект, юмор, точность – это Саша. В его прозе есть свой стиль, есть позиция, есть дыхание жизни. Он так просто пишет о сложном, что тебе кажется, что ты тоже так думал, просто не смог об этом именно так сказать. Он пишет о вечном и таком узнаваемом. Он пишет о любви! Невероятный кайф читать его вслух!

Максимова Полина, российская актриса театра и кино, телеведущая

Дима Большой

Черт знает, какие затычки вставляет взрослая жизнь в наши органы чувств. Вроде живешь в том же мире, что и в детстве, но вокруг вырастает кокон, сквозь который, если и проникают запахи этого мира, его прикосновения, его вибрации, то только в виде эха детских ощущений – пахнет осенью, как тогда, земля липкая, как тогда, замерзшие листья хрустят под ногой – все только как тогда. И, похоже, по-другому уже не будет…

У нас не было ни дачи, ни поместья, ни какого-нибудь гулкого особняка – у нас была только квартира в девятиэтажном доме и двор, к нему прилагавшийся. Удивительно, как может простой московский двор стать вселенной для ребенка! И сейчас, глядя на его скромность и обычность, даже не хочется думать, что волшебство детства может вот так же превратить во вселенную и барак, и комнату в коммуналке, и собачью конуру. Куда только девается эта непритязательность… И зачем я теперь стал такой притязательный?

Двор имел свое символическое начало во времени: вскоре после того, как мы въехали в новый дом, на пустыре за один день построили детскую площадку. Целиком деревянная, она состояла из (записывайте): резной горки с громыхающим скатом, резной спортивной обоймы (турник, шведская стенка, качели), страшного резного деда с домиком кормушки в перпендикулярных лапах, не менее страшного резного чебурашки, резных качелей в виде бревна на опоре. И песочницы. Всю эту желтую лакированную роскошь с удивительной для меня, ребенка, серьезностью расставляли и вкапывали взрослые мужики. Мы, дети, еще не знакомые друг с другом, вначале глазели на стройку, а потом – о, радость! – нам велели помогать. И мы что-то держали, что-то тащили… Чувствовать себя полезным – одно из самых дефицитных ощущений для маленького человека.

Так началось мое дворовое детство.

Двор был полон одним только нам известных тайн. Вот неприметная квадратная дверца в стене дома – взрослые проходят мимо, не обращая на нее внимания, но мы знали, что за этой дверцей прячется кран без вентиля. При помощи семейного ключа от велосипеда кран оживал и превращался в источник холодной воды, такой нужный летом, в сезон брызгалок (не домой же бегать их наполнять).

Вот кирпичный забор, у которого в верхнем ряду не хватает одного кирпича – ухватившись в прыжке за эту выемку, можно было взобраться, перелезть и обнаружить на той стороне крашеную крышу железного сарая. А сдвинув ее – она сдвигалась – покинутое голубиное гнездо, в гнезде яйца, а в яйцах (или вы думали, что десятилетнего мальчика может что-то остановить?) довольно противный эмбрион несостоявшегося, как теперь уже понятно, голубиного птенца.

Мы знали, где дворник хранит краску-серебрянку, как попасть на крышу, как украсть шампунь для брызгалки из окна хозяйственного магазина. В новый дом обычно въезжают молодые семьи, так что компания у нас была большая, росшая вместе через начальный, а потом средний школьный возраст.

Дима Большой (в отличие от малопримечательного Димы Маленького) был на самом деле не очень большим, щуплым и белобрысым, но зато самым старшим среди нас. Годам к пятнадцати он стал реже снисходить до игр с мелюзгой, но когда это случалось, наша компания сразу казалась мне значительней. Дима умел рассказывать. В осенних сумерках его ломкий голос уносил нас в сказочную страну взрослых, где пили вино и занимались настоящим сексом с настоящими женщинами-десятиклассницами (подозреваю, что все это он просто выдумывал на радость шпане). Дима Большой знал все анекдоты и похабные стихи, умел смешно показывать пьяных и курил. Были у него в запасе и приличные истории – он мог в деталях описать, как лежал прикованный под маятником с лезвием, – картина, которая оставила в моей фанта-

зии сильное впечатление, и в которой я годы спустя опознал рассказ Эдгара По. Он здорово рисовал, знал правила всех игр, просвещал нас, какие марки машин круче, за какую команду надо болеть, какую группу слушать. Аргумент «Дима Большой сказал, что „Бони М“ – фуфло, а „Чингисхан“ – клево» был решающим в дискуссии о музыке.

Ровно в восемь с восьмого же этажа неизменно слышался зычный крик «Алёёёёшаа, дооомоооой!», как две волны с подъемами на «лёёё» и «дооо», и Алеша всегда одинаково вначале пугался, потом, стесняясь, опустив глаза, бормотал «Мне пора» и убегал в свой третий подъезд. Он всегда уходил первым. «Беги скорее, – напутствовал его Дима Большой, – у мамки сиська остынет!» И мы смеялись, сплевывали между зубов, но потом тоже расходились, а Дима – Дима всегда оставался последним.

Паша был младше меня на год, жил в соседнем подъезде, а его папа ездил за границу. Однажды Паша вышел во двор с заморской диковинкой – дротиками. Оперенное шило втыкалось в дерево при любом броске, мы кидали дротики по очереди, сидя, стоя, лежа, из-за спины, на дальность и на точность. Дима Большой, дымя сигареткой, взялся за снаряд, спружинился и зашвырнул его вверх. Дротик взмыл к низким облакам и застрял в стволе тополя на уровне пятого этажа. «Батя меня убьет» – прошелестел Паша. «Тогда твой модный велик чур мой» – цинично ответил Дима.

Дротик можно было разглядеть, но снять его не представлялось возможным, несмотря на то что мы иногда залезали и выше – у нас во дворе росли высокие тополя, – именно этот экземпляр не оброс в нужных местах удобными ветками. И еще долго потом, гуляя или по дороге в школу, я поглядывал на тополиного пленника, с каждым годом чуть дальше отдалявшегося от земли. Я представлял, как он покрывается снегом зимой и сосульками весной, как он ржавеет под дождем… Мне казалось, что когда-нибудь я сниму его. Наверное, он и сейчас торчит из ствола, но, увы, я давно утерял способность разглядеть его. Потом я узнал, что Дима в тот же вечер пришел к Паше домой и взял ответственность за утраченный дротик на себя.

Зимой, когда острый морозный вдох пронзал ноздри до самого мозга, мы играли на утоптанном снегу в хоккей с мячом. И боль от удара плетеным мячиком по коленной чашечке была невыносимой, но короткой. И снятая шапка дымилась паром.

Весной, когда пустой и сухой воздух вдруг за ночь превращается из газа в жидкость, просвеченную лучом, наполненную щебетом, звоном, скрипом отпираемых окон, запахом таяния, хлюпаньем и шмыганьем, – наступало время игры в банки. Когда земля подсыхала, начинались ножички и футбол. Круглый год мы лазили по деревьям, падали с них, ломали руки и ноги, но когда к нам присоединялся Дима Большой, все почему-то кончалось тем, что он рассказывал, а мы слушали.

Он собирался поступать в Иняз, и многие из нас тоже, на удивление родителей, стали рассуждать о прелестях жизни переводчиков. Но так же резко, как он иногда сообщал нам что еще вчера всеми уважаемый Панасоник – это фуфло, а вот Филипс – это клево, так же неожиданно Дима Большой решил поменять жизненную траекторию и пойти в армию, потому что «только армия сделает из тебя настоящего мужика». Уже на излете нашего детства он уходил в военкомат с нарезанными хлебом и колбасой, и по дороге сел к нам на лавочку, покурить напоследок.

А потом детство кончилось совсем, колеса завертелись, зачарованный двор стал отдаляться со страшной скоростью, начались переезды… Когда я снова попал во двор, его было не узнать. Все пустые места заняли машины, даже футбольное поле закатали под стоянку, резная площадка истлела, появились новые заборы, а дети исчезли. У подъезда сидел Дима Большой, совсем уже небольшой, меньше меня. Я ему кивнул, мне показалось, что он пьян. Потом мне рассказали, что он вернулся из армии и начал пить. Шли годы, и каждый раз, когда я оказывался во дворе, его ссутуленная тщедушная фигура всегда была в поле зрения – он куда-то шел, шатаясь, или сидел на наших старых местах.

Нашим детям уже больше, чем нам было тогда. И хотя двор уже не тот, я все еще могу определить месяц по запаху, когда там оказываюсь. Мы выросли и разбежались, калейдоскоп больше никогда не сложится в тот узор, только запахи, только память и Дима Большой. Который отказался взрослеть и трезветь и, как дротик в стволе тополя, остался торчать в месте своего предназначения, остался навсегда во дворе.

Александр Маленков

Синее полотенце

В первый же день отдыха в хорватском пляжном отеле с Иваном Александровичем случилось досадное происшествие – у него украли полотенце. Отель и так не до конца оправдывал ожидания в четыре тысячи евро за неделю – персонал вел себя безучастно, кровати на вилле застилали кое-как, со стола не убрали косточку от нектарина. А с полотенцем с самого начала пошла какая-то излишняя для заслуженного отпуска суета. Первый же встречный сотрудник отеля (молодой мужчина с надписью «Staff» на футболке) чрезвычайно оскорбился на вопрос «Где можно раздобыть пляжное полотенце?»

– Ай эм теннис инструктор! – воскликнул он. – Ай ноу нофинг эбаут тоулез!

Оказалось, что полотенца выдают в крытом бассейне, вместе со специальной карточкой в обмен на сто хорватских кун, то есть тысячу рублей. Иван Александрович взял два. Подумаешь, какие церемонии, размышлял он, расстилая голубой махровый трофей на жестком шезлонге. Матраса к шезлонгу не полагалось. Зонтиков тоже, хорошо хоть богатая хвойная растительность давала достаточно тени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.